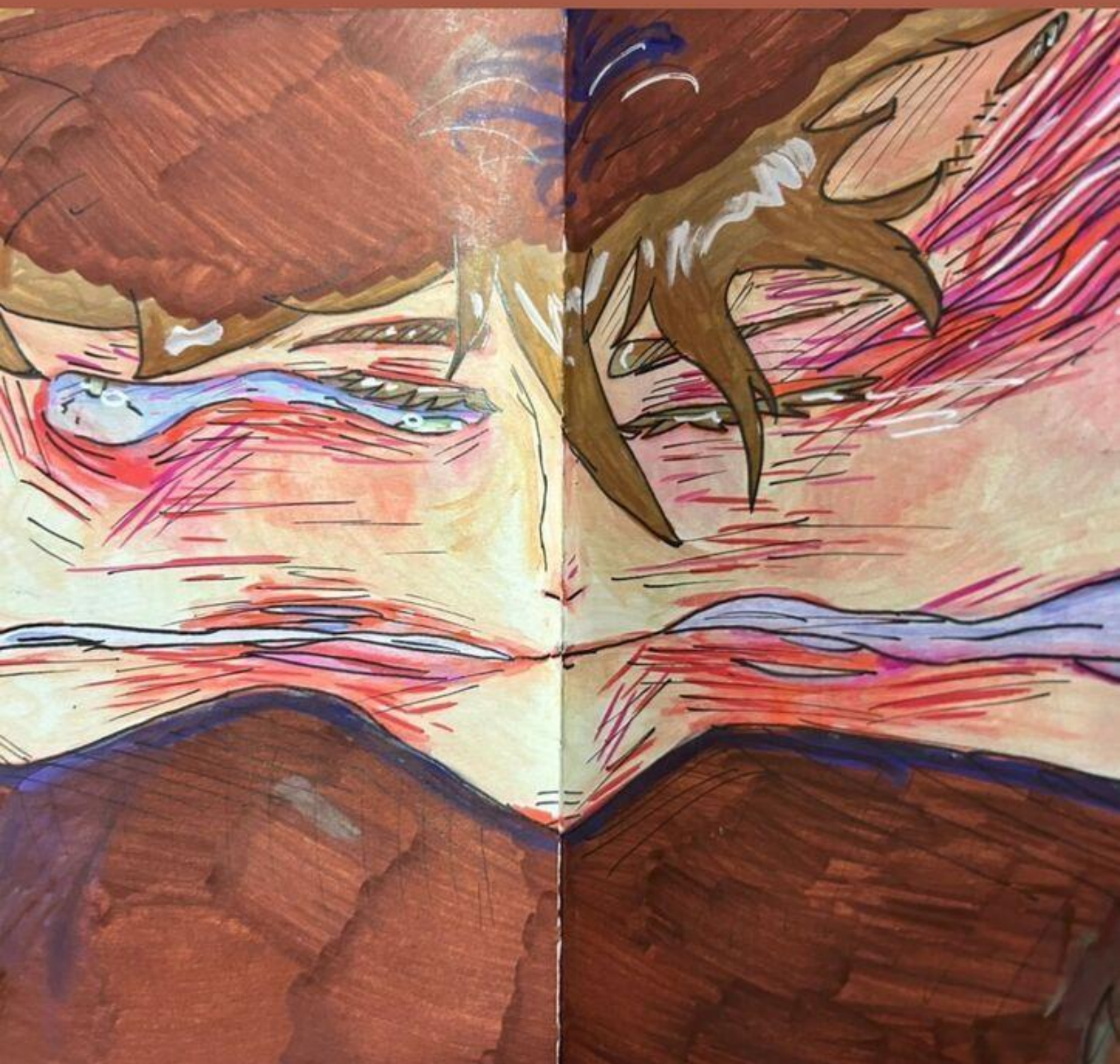


18+

Алекс Перегрин

Орфей и Сара

Она забыла его имя. Он наливал ей чай три года. Она
полюбила его заново. Потому что любовь — это не память.
Любовь — это мята в чайнике



Алекс Перегрин

**Орфей и Сара. Она забыла
его имя. Он наливал ей чай
три года. Она полюбила
его заново. Потому что
любовь — это не память.
Любовь — это мята в чайнике**

«Издательские решения»

Перегрин А.

Орфей и Сара. Она забыла его имя. Он наливал ей чай три года. Она полюбила его заново. Потому что любовь — это не память. Любовь — это мята в чайнике / А. Перегрин — «Издательские решения»,

«Он наливал мне чай каждое утро. Я не помнила, кто он. Но я помнила вкус чая. Может быть, любовь — это и есть вкус, который остается, когда забываешь все остальное».

Содержание

«ОРФЕЙ И САРА»	6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ДО	7
Глава 1. Лифт	7
II Сто сорок второй?	8
III Его сердце стучало	10
IV Почти без эмоций	12
Глава 2. Что-то, ради чего стоит купить чайник	14
I. Тогда что с тобой?	15
II. «Blue August»	17
III. Они настоящие	19
IV. Она готовила рыбу с розмарином	21
V. Удар током	22
VI. Правильный вопрос	24
VII. Соль пригодилась?	28
ИНТЕРЛЮДИЯ: САРА (ДО)	31
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Орфей и Сара
Она забыла его имя. Он наливал
ей чай три года. Она полюбила его
заново. Потому что любовь — это не
память. Любовь — это мята в чайнике

Алекс Перегрин

© Алекс Перегрин, 2026

ISBN 978-5-0071-1463-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«ОРФЕЙ И САРА»

Повесть. Дополнение к роману «Стерилизация 7.0».

Дополнение к роману «Стерилизация 7.0»

[Имя автора]

Посвящение:

— Тем, кто искал. Тем, кого нашли. И тем, кто полюбил заново — с нуля.-

Эпиграфы:

«Не оглядывайся. Но если оглянешься — пусть это будет из любви».

— Хроники Нулевого, фрагмент 7

«Объект Семя-5 демонстрирует устойчивую эмоциональную привязанность к объекту „Сара“. Попытка разрыва привязки путём тотальной нейрокоррекции объекта „Сара“ не привела к ожидаемому результату. Объект Семя-5 продолжает поиск. Рекомендация: продолжить наблюдение. Примечание: я больше не могу называть это экспериментом. Это — пытка».

— Из отчёта куратора, доктор Амира Рашид, год шестнадцатый

«Он наливал мне чай каждое утро. Я не помнила, кто он. Но я помнила вкус чая. Может быть, любовь — это и есть вкус, который остаётся, когда забываешь всё остальное».

— Сара. Из записи, сделанной за три дня до смерти

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ДО

Глава 1. Лифт

Их первая встреча была подстроена.

Виктор не знал этого. Сара не знала. Знали только четверо: доктор Амира Рашид, куратор эмоциональной серии проекта «Семя», два аналитика поведенческого отдела и алгоритм подбора, который прочесал базу данных из двенадцати миллионов женских профилей, прежде чем выдал результат.

Результат назывался: Сара Нойман, двадцать шесть лет, техник-диагност третьего разряда, жилой блок «Восток-14», этаж сто сорок второй.

Профиль совместимости с ДНК Нулевого: 97,3 процента.

Амира Рашид прочитала результат, посмотрела на фотографию Сары — каштановые волосы до плеч, родинка на левой щеке, спокойные карие глаза — и сделала пометку в журнале:

«Алгоритм рекомендует инициацию контакта в закрытом пространстве с ограниченным количеством участников. Оптимальный сценарий: лифт. Продолжительность контакта: 40—90 секунд. Этого достаточно для активации паттерна первичной привязанности у носителя ДНК Нулевого.

Личное примечание: мы подбираем женщину для клона, как подбирают корм для лабораторной мыши. Оптимальный состав. Оптимальная калорийность. Оптимальная усвояемость. Единственная разница — мышь не способна влюбиться в корм.

Я ненавижу свою работу».

За сорок семь секунд до того, как его жизнь изменилась навсегда, Виктор стоял в вестибюле жилого блока «Восток-14» и разглядывал свои ботинки.

Ботинки были казенные — черные, из синтетической кожи, с подошвой, которая не скрипела и не оставляла следов. Стандартная обувь для техника третьего разряда. Удобная, практичная, абсолютно безликая. Ботинки человека, которого система не считает достаточно важным для индивидуального подхода.

Ему было двадцать четыре года. Или его телу было двадцать четыре — точнее сказать невозможно, потому что его тело выросло не в утробе матери, а в янтарном растворе инкубатора на платформе «Стикс-3», и двадцать четыре года ему дала не природа, а калибровочная программа. Он не знал об этом. Не знал, что он — пятая копия мертвого гения. Не знал, что каждый его шаг фиксируется датчиком, вживленным в основание черепа. Он не знал, что его жизнь — эксперимент, задуманный людьми, для которых слово «любовь» было переменной в уравнении.

Он знал только одно: ему одиноко.

Не то одиночество, которое лечится компанией — когда звонишь другу, идёшь в бар, включаешь музыку погромче. Другое. Глубокое, фундаментальное, как трещина в фундаменте здания. Одиночество человека, который не помнит, откуда пришел, и не знает, куда идет. Который каждое утро просыпается в квартире, где нет ни одной фотографии, ни одного сувенира, ни одного предмета, связанного с прошлым, — потому что прошлого нет. Есть только легенда:

сирота, выросший в приюте на окраине архипелага, работает техником по системам кондиционирования. Легенда, уместившаяся на одной странице. Жизнь, уместившаяся в абзац.

Вестибюль «Востока-14» был типичным для среднего слоя Аурума: мраморный пол (искусственный мрамор пятой категории), потолок со встроенными лампами (свет — 4200 кельвинов, «оптимистичный дневной»), стены с рекламными панелями, транслирующими бесконечный поток предложений: «Общая плоть 5.0 — почувствуй всех!», «Нейросон Делюкс — сны лучше реальности», «Эликсир молодости — живи вечно, плати ежемесячно».

Виктор не смотрел рекламу. Он давно перестал это делать. Его имплант — базовая версия, без нейростимуляции — не усиливал желания, не подавлял сомнения, не корректировал настроение. Он был одним из немногих жителей Аурума, чей мозг работал почти без фильтров. Не потому, что он сам так решил. Потому что его ДНК — ДНК Нулевого — тихо, упрямо, на клеточном уровне сопротивлялась любой попытке вмешательства.

Он стоял и ждал лифт.

Лифт в «Востоке-14» был старым. Не антикварным — просто старым, из первого поколения оборудования, установленного при строительстве блока. Он полз между этажами с тягучей неохотой механизма, который давно устал работать, но продолжает, потому что его никто не отключил. Кабина была тесной — три на два метра, с зеркальными стенами, которые увеличивали любого пассажира до бесконечности. Виктор не любил эти зеркала. В них он видел себя — высокого худого мужчину с темными глазами и лицом, которое казалось одновременно жестким и потерянным. Как лицо человека, который давно ищет дорогу домой, но забыл, как выглядит его дом.

Лифт приехал. Двери открылись с усталым вздохом гидравлики. Внутри — никого. Виктор вошел. Нажал кнопку «142». Двери начали закрываться.

И рука — маленькая, с тонкими пальцами и браслетом из серебряной проволоки — просунулась в щель.

II Сто сорок второй?

Двери разъехались.

Она вошла.

За восемь лет жизни в Ауруме Виктор видел тысячи женщин. Красивых, модифицированных, доведенных биоинженерами до нечеловеческого совершенства. Женщин с идеальными лицами, идеальными телами, идеальными улыбками — улыбками, рассчитанными алгоритмом для максимального воздействия на мужские центры удовольствия.

Женщина, вошедшая в лифт, не была идеальной.

Ее нос был чуть длиннее, чем предписывали стандарты красоты Аурума (стандарты обновлялись ежеквартально и публиковались в «Бюллетене оптимальной внешности»). Ее скулы были чуть ниже. Ее брови — чуть гуще. На левой щеке темнела родинка — маленькая, круглая, похожая на точку в конце предложения.

Но.

Она была настоящей.

Виктор не мог объяснить, что это значит. У него не было слов для этого. Но он чувствовал — так же, как чувствовал тишину в пустой квартире, как чувствовал одиночество, как чувствовал, что в его жизни не хватает чего-то важного. Он чувствовал, что эта женщина — с каштановыми волосами до плеч, карими глазами, родинкой на щеке — создана не из пластика и алгоритмов. Она была сделана из того же материала, что и рассветы, и запах дождя, и тот тихий щелчок, с которым ключ входит в замок, для которого он был создан.

Она несла бумажный пакет с продуктами. Из пакета торчал багет — настоящий, не синтетический, испеченный в одной из трех оставшихся в Ауруме пекарен, где еще месили тесто руками. Рядом с багетом — пучок зелени. Судя по запаху, базилик. Запах был теплым, травянистым и совершенно неуместным в стерильном лифте с зеркальными стенами.

От нее пахло свежим хлебом и чем-то цветочным — не духами, а чем-то естественным, исходящим от кожи. Как будто она только что вышла из сада. Как будто сады еще существовали.

— Сто сорок второй? — спросила она, глядя на панель.

Ее голос был негромким, с легкой хрипотцой — не прокуренной, а теплой, как будто голосовые связки были настроены на другую частоту, чем у остальных людей. На частоту, которая обходила слух и попадала прямо куда-то в район солнечного сплетения.

— Да, — ответил Виктор.

— Я тоже.

Лифт закрылся. Поехал. Медленно, скрипя, как старик, поднимающийся по лестнице.

Они молчали.

Виктор стоял у левой стены. Она — у правой. Между ними — полтора метра воздуха, пахнущего хлебом и базиликом. Полтора метра, которые были одновременно пропастью и мостом.

Он смотрел на её руки. Маленькие, с тонкими пальцами, без маникюра (в Ауруме это считалось эксцентричностью, граничащей с вызовом). На правом запястье — браслет из серебряной проволоки, самодельный, неровный, похожий на те, что дети плетут из проволоки на уроках труда. Если бы в Ауруме были уроки труда. Если бы в Ауруме были дети, которым разрешалось что-то делать руками.

Ее пальцы сжимали бумажный пакет с той осторожностью, с какой держат что-то хрупкое. Не продукты — что-то большее. Она держала пакет так, как держат письмо от далекого друга. Или коробку с последним кусочком торта. Или руку ребенка, переходящего дорогу.

Виктор не мог отвести глаз от этих рук. Не потому, что они были красивыми — хотя и были. А потому, что они были живыми. По-настоящему живыми. Они двигались с той небрежной грацией, которая бывает только у людей, привыкших делать что-то руками, — и которой начисто лишены модифицированные красавицы Аурума, чьи руки были идеальными и абсолютно бесполезными.

Тридцать секунд.

Он посмотрел на ее отражение в зеркальной стене. Она тоже смотрела на его отражение. Их взгляды встретились — не напрямую, а через зеркало, через бесконечный коридор отражений, в котором тысячи Викторов смотрели на тысячи Сар, и между каждой парой было полтора метра воздуха, пахнущего хлебом.

Сорок секунд.

Она улыбнулась. Не ему — его отражению. Улыбка была маленькой, асимметричной — правый уголок губ приподнялся чуть выше левого, как будто одна половина лица была более склонна к радости, чем другая. В этой асимметрии было больше красоты, чем во всех симметричных лицах Аурума, вместе взятых. Потому что симметрия — это математика. А асимметрия — это жизнь.

— Вы новенький? — спросила она. — Я вас раньше не видела.

— Переехал три дня назад.

— На какой этаж?

— На сто сорок второй.

— Мы соседи.

Сорок семь секунд.

Лифт остановился. Двери открылись. Она вышла первой. Повернулась. Родинка на её щеке была на расстоянии вытянутой руки.

— Я Сара, — сказала она. — Если понадобится соль или Wi-Fi, я в четырнадцатой.

— Виктор, — сказал он.

Она кивнула — коротко, деловито, как кивают люди, привыкшие экономить жесты. И ушла по коридору. Ее шаги были мягкими — она шла босиком (ботинки держала в свободной руке, потому что «ноги должны дышать», как он узнает позже).

Виктор стоял в лифте и смотрел ей вслед.

III Его сердце стучало

Двери начали закрываться.

Он просунул руку в щель.

Двери разъехались.

Он вышел. Пошел к своей квартире — пятнадцатой, через стенку от нее. Но не зашел. Он стоял у двери, прижавшись спиной к стене, и дышал.

Его сердце стучало. Не быстро — неправильно. Как будто внутри него сломался какой-то механизм, который двадцать четыре года работал вхолостую, а теперь вдруг получил нагрузку, к которой не был готов. Ритм сбивался. Сердце делало удар, паузу, два удара, паузу, три удара подряд. Как будто пыталось заговорить, но не знало слов.

Виктор прижал ладонь к груди. Под рубашкой, под кожей, под рёбрами что-то горело. Не больно. Тепло. Как будто кто-то зажёл внутри него маленький огонёк — не пожар, не вспышку, а спичку. Одну спичку в комнате, которая двадцать четыре года была тёмной.

Он простоял у двери пятнадцать минут.

Потом вошел в квартиру. Стандартная жилая ячейка: одна комната, кухня-ниша, ванная, окно, за которым виднеются бесконечные этажи соседних башен. Стены — белые. Пол — серый. Потолок — белый. Ни одной фотографии. Ни одного сувенира. Ни одной вещи, которая говорила бы: здесь живет человек, у которого есть своя история.

Виктор сел на кровать. Посмотрел на свои ботинки. Казенные. Безликие.

Потом посмотрел на свои руки.

Руки техника третьего разряда. Мозолистые от инструментов, с которыми он работал каждый день: ключей, отвёрток, мультиметров. Его работа заключалась в том, чтобы чинить системы кондиционирования в жилых блоках среднего уровня: проверять фильтры, менять датчики, калибровать потоки воздуха. Работа, которую мог выполнять робот — и которую выполнял человек, потому что роботы были дороже.

Его руки умели чинить.

Но они не умели прикасаться.

За двадцать четыре года его жизни — восемь из которых он помнил, а шестнадцать были вымышленной историей, внедренной в его мозг при активации, — за все эти годы его руки не коснулись ни одного человека. Не пожали ни одной ладони. Не погладили ни одной щеки. Не обняли ни одного плеча.

Его руки были инструментами. Функциональными, исправными, хорошо откалиброванными инструментами.

Но в лифте, когда он смотрел на её руки — маленькие, с тонкими пальцами, с серебряным браслетом, — его руки впервые захотели стать чем-то другим.

Захотели прикоснуться.

Он лёг на кровать. Закрыв глаза. В темноте под веками плыл запах базилика. И родинка. И асимметричная улыбка. И голос — теплый, хрипловатый, проникающий прямо в солнечное сплетение.

Виктор не спал до утра.

IV Почти без эмоций

Далеко от жилого блока «Восток-14», в лаборатории на платформе «Стикс-3», доктор Амира Рашид считывала показания датчика.

Ей было тридцать восемь лет. Невысокая, смуглая, с чёрными волосами, собранными в тугой узел на затылке, и глазами, которые за шестнадцать лет работы в проекте «Семя» научились смотреть на человеческие чувства так, как патологоанатом смотрит на органы: профессионально, точно, без эмоций.

Почти без эмоций.

Потому что сегодня ночью — впервые за восемь лет наблюдения за объектом «Семя-5» — графики на её мониторе показывали то, чего не предсказывала ни одна модель.

Нейронная активность: аномальная. Области мозга, отвечающие за привязанность, эмпатию, сексуальное влечение и — что самое странное — за восприятие музыки, — все они горели одновременно. Как будто мозг Виктора воспринял сорокасемисекундную встречу в лифте не как обыденное событие, а как симфонию.

Сердечный ритм: нерегулярный. Не опасно, но аномально. Ритм не совпадал ни с одним из известных кардиологических шаблонов. Сердце Виктора билось так, как бьется сердце человека, который впервые слышит музыку после двадцати лет глухоты.

Уровень окситоцина: превышение нормы на 340 процентов.

Уровень дофамина: превышение на 280 процентов.

Уровень серотонина: стабильный — что было самым странным из всего. Его мозг не использовал серотонин — «гормон счастья» — для обработки этого переживания. Как будто то, что чувствовал Виктор, не было счастьем в привычном нейрохимическом смысле. Это было что-то другое. Что-то, для чего нейрохимия не изобрела гормон.

Амира Рашид сделала запись:

«День 2922. Контакт между объектом «Семя-5» и объектом «Сара» состоялся. Продолжительность: 47 секунд. Место контакта: лифт жилого блока «Восток-14».

Нейронная реакция «Семя-5» превышает прогнозируемую на 340 процентов. Паттерн активации не совпадает ни с одной из существующих моделей эмоциональной привязанности. Объект демонстрирует мгновенную, полную и безусловную фиксацию на объекте «Сара».

Проще говоря: он влюбился. За 47 секунд. В лифте. Без нейростимуляции, без алгоритмической подготовки, без химического воздействия. Его мозг сделал это сам.

Комментарий: мы подстроили встречу. Мы выбрали для него идеальную женщину — по генетическому профилю, по психологической совместимости, по шестидесяти четырём параметрам алгоритма подбора. Мы рассчитали, что привязанность сформируется в течение двух-трех недель регулярного контакта.

Мы не учли, что она сформируется за 47 секунд.

Мы не учли, что ДНК Нулевого способна на такое.

Личное примечание: мне стыдно. Мне чудовищно стыдно. И мне страшно — потому что я знаю, что будет дальше. Через пятнадцать лет мне прикажут это уничтожить. И я подпишу приказ. Как подписала все остальное. Потому что я — учёный. А учёные не имеют права на совесть. Только на данные.

Но данные говорят мне то, чего я не хочу знать: этот человек будет любить эту женщину сильнее, чем любой другой мужчина любил любую другую женщину в истории. Не потому, что мы его так запрограммировали. А потому, что мы не смогли его от этого запрограммировать.

ДНК Нулевого несет в себе способность к любви, которая не поддается контролю. Как и все остальное в Нулевом, эта любовь будет отвергать любые импланты, любые фильтры, любые попытки вмешательства.

Мы создали человека, который будет любить. Несмотря ни на что. Вопреки всему. До конца.

И мы уничтожим эту любовь. Потому что таков эксперимент.

Я ненавижу свою работу».

Глава2. Что-то, ради чего стоит купить чайник

Утром Виктор проснулся с ощущением, которого никогда не испытывал.

Ощущение было физическим — как будто внутри него, в районе груди, появился новый орган. Не сердце — сердце было на месте, билось ровно, без вчерашних перебоев. Что-то другое. Что-то, что до вчерашнего вечера не было частью его тела. Что-то, что появилось за 47 секунд в лифте и теперь жило внутри него, как пламя живет внутри фонаря.

Он встал. Принял душ. Оделся. Привычные действия, привычный порядок — но все казалось другим. Не потому, что мир изменился. Потому что изменился он сам.

Вода в душе была теплее. Или казалась теплее. Его кожа ощущала каждую каплю — не как единицу влажности, а как прикосновение. Будто вода гладила его.

Рубашка, которую он надел, была мягче. Или казалась мягче. Ткань ложилась на плечи не как униформа, а как объятие.

Кофе, который он сварил (стандартный, из автомата, который до этого варил кофе 2847 раз — он считал, потому что больше считать было нечего), — этот кофе был вкусным. Не «оптимальной горечью с ноткой карамели», как было указано на упаковке. Вкусным. Настоящий, многогранный, живой вкус, в котором горечь была не характеристикой, а историей — историей зерна, которое росло, созревало, было собрано, обжарено и перемолото.

Виктор пил кофе и думал о том, что за двадцать четыре года ни одна чашка кофе не была вкусной. И вдруг — стала. Потому что вчера он стоял в лифте с женщиной, от которой пахло базиликом.

Он поставил пустую чашку на стол. Посмотрел на неё. Одна чашка. На одного человека. Как всегда. Как и последние 2847 дней.

Что-то внутри него — тот новый орган, то пламя в фонаре — сказало: нет.

Не «нет, не так». А «нет, не один».

Виктор открыл шкафчик над раковиной. Достал вторую чашку — стандартную, белую, казенную, точную копию первой. Поставил рядом.

Две чашки на столе.

Он смотрел на них и понимал: что-то начинается. Что-то, чему у него нет названия. Что-то большее, чем 47 секунд в лифте, большее, чем запах базилика, большее, чем родинка на щеке.

Что-то, ради чего стоит купить чайник.

Он не знал почему, но в тот же день, по дороге с работы, он зашел на рынок — маленький стихийный рынок на нижней палубе «Восток-14», где торговцы из низших слоев общества

продавали вещи, которых не было в каталогах «Элизиума». Старые вещи. Бесполезные вещи. Вещи с историей.

Среди ржавых инструментов, выцветших книг и потрескавшейся посуды он увидел чайник.

Белый. Эмалированный. С синими горошинами. Маленький — на две чашки. С облупившимися краями. С царапиной на боку. С ручкой, чуть погнутой вправо, — как будто кто-то слишком сильно сжимал её.

Он стоил четыре кредита. Новый чайник с цифровым управлением, голосовым помощником и функцией автоматического подбора температуры стоил двадцать. Новый был лучше по всем параметрам.

Виктор купил старый.

Он нёс его домой, прижимая к груди, как другие несут цветы. Или письма. Или новорождённых. Он не знал, зачем ему этот чайник. Не знал, для кого вторая чашка. Не знал, что через три дня постучится в дверь четырнадцатой квартиры с пачкой соли в руке и ложью на устах.

Но чайник — белый, с синими горошинами — стоял на его кухонном столе, и от него исходило тепло. Не физическое — другое. Тепло ожидания. Тепло того, что вот-вот начнется.

И Виктор, который двадцать четыре года прожил в мире без запахов, без вкусов, без цвета — в мире, который был правильным и пустым, как казенные ботинки, — этот Виктор впервые в жизни лег спать с улыбкой.

Небольшой. Асимметричной.

I. Тогда что с тобой?

На третий день он постучал в четырнадцатую квартиру.

Не потому, что ему нужна была соль.

Соль у него была — полная пачка, купленная утром в автомате на первом этаже. Он нёс её в руке, как улику, как нелепое алиби, как бумажный щит, которым человек пытается прикрыть сердце, уже пробитое насквозь.

С утра он пытался не идти.

Встал в шесть, как всегда. Принял душ, который оказался слишком долгим — он стоял под водой и убеждал себя, что вчерашнее чувство было сбоем. Аномалией. Ошибкой нейрехимии. Следствием усталости. Всё, что угодно, только не то, чем оно было на самом деле.

Он сварил кофе. Поставил на стол две чашки — снова, как накануне. Одну убрал обратно в шкаф. Вторую оставил. Сел напротив. Двадцать минут смотрел, как поднимается пар. Потом встал и вылил кофе в раковину.

В восемь он вышел на работу. Пять раз за день он проходил мимо рынка на нижней палубе «Востока-14» — и каждый раз взгляд сам собой натывался на белый чайник с синими горошинами, который теперь стоял у него дома. Как будто чайник был не предметом, а компасом, стрелка которого упорно указывала на четырнадцатую квартиру.

В обед он обнаружил, что не может работать.

Обычно его руки двигались уверенно: отвертка, ключ, диагностика датчиков, калибровка воздушных клапанов, чистка фильтров. Работа техника по обслуживанию систем кондиционирования была скучной, однообразной и настолько простой, что мозг переставал в ней участвовать уже на втором месяце. Именно поэтому она подходила для эксперимента: Виктор мог спокойно размышлять о своем одиночестве.

Но сегодня руки его подводили. Отвертка дважды срывалась со шлица. Он перепутал маркировку фильтров. Один раз уронил ключ в вентиляционную шахту и десять минут слушал, как тот падает, ударяясь о стенки, звеня всё тише и тише, пока не исчез внизу. Этот звук почему-то напомнил ему ее смех — и от этого сравнения у него перехватило дыхание.

Начальник смены — толстый мужчина с лицом, похожим на пережаренную булочку, — посмотрел на него с подозрением.

— Лоэн, ты сегодня как после прошивки. Температура?

— Нормальная.

— Зрачки?

— Нормальные.

— Тогда что с тобой?

Виктор хотел ответить честно.

Со мной случилось то, для чего нет ни медицинского термина, ни программного патча, ни алгоритма компенсации. Со мной случилась женщина в лифте с бумажным пакетом и родинкой на щеке. Со мной случился запах базилика. Со мной случились сорок семь секунд, которые оказались длиннее восьми лет моей жизни.

Вместо этого он сказал:

— Не выспался.

Начальник кивнул. Это была понятная, одобряемая системой причина. Не выспавшихся граждан Аурума можно лечить нейросном. Влюблённым нельзя.

К шести вечера Виктор был дома. Он прошёл мимо своей двери. Дважды. Открыл, вошёл, вышел, снова вошёл. Поставил чайник на плиту. Снял чайник. Поставил обратно. Достал пачку соли. Посмотрел на неё так, как люди смотрят на нелепый реквизит в плохом спектакле, понимая, что без этого реквизита сцена не состоится.

В 18:47 он подошёл к двери четырнадцатой квартиры.

В 18:48 поднял руку.

В 18:49 постучал.

II. «Blue August»

Дверь открылась не сразу.

Сначала он услышал шаги. Мягкие, босые — он узнал их мгновенно, как будто шаги можно узнать так же, как голос или запах. Потом щелчок замка. Потом лёгкое шуршание ткани о металл.

И дверь открылась.

Сара была в домашней одежде.

Старая футболка с логотипом музыкальной группы, название которой он не знал — «Blue August», буквы стёрлись наполовину. Мягкие серые штаны. Босые ноги — ступни маленькие, с узкими шиколотками, на большом пальце правой ноги — крошечный шрам, как будто в детстве она порезалась о стекло. Волосы собраны в небрежный узел на макушке, из которого выбились две пряди — одна прилипла к виску, другая — к шее.

Она не была готова к встрече. Не была «настроена» на взгляд. Не была подана как блюдо, украшенное для фото. И именно поэтому в тот момент она показалась Виктору такой красивой, что у него заболели зубы — от того острого, почти физического напряжения, которое возникает, когда реальность оказывается лучше любого воображения.

Она посмотрела на него. Потом на пачку соли у него в руке.

— Виктор, — сказала она. — Из лифта.

Её голос в квартире звучал иначе, чем в кабине лифта. Теплее. Ниже. Без металлического отзвука замкнутого пространства. Голос, который не отражался от зеркальных стен, а уходил вглубь комнаты и там оседал, как чайный пар.

— Да, — сказал он. И понял, что забыл текст. Весь подготовленный, гениально идиотский текст про соль, рыбу и кулинарную катастрофу. Осталось только сердце, которое стучало так громко, что, казалось, его должно быть слышно в коридоре.

Она приподняла бровь. Ждала. Не раздраженно — заинтересованно. Как будто ей было любопытно, до какой нелепости он сейчас додумается.

Виктор посмотрел на пачку соли в своей руке. Посмотрел на нее. Снова на соль.

— Мне... нужна соль, — сказал он наконец.

Ее взгляд опустился на пачку. Потом вернулся к его лицу.

— У тебя есть соль.

— Да

— Тогда зачем тебе соль?

— Мне нужна... другая соль.

— Другая?

— Крупная. У меня мелкая. А нужна крупная. Для рыбы.

Пауза.

В Ауруме паузы были врагом коммуникации. Алгоритмы общения — те, что встроены в социальные импланты большинства граждан, — минимизировали их автоматически: если собеседник молчал дольше трех секунд, имплант подавал микросигналы — кашель, кивок, уточняющий вопрос, — чтобы коммуникация не прерывалась. Пауза давала человеку время подумать, а думающий человек был потенциальной угрозой для системы.

Пауза между Виктором и Сарой длилась шесть секунд.

Шесть секунд настоящей тишины, в течение которых оба понимали, что он пришёл не за солью. И оба решили не разоблачать эту ложь. Потому что иногда вежливость — это не делать вид, что веришь. А делать вид, что не заметил.

— У тебя есть рыба? — спросила она.

— Нет, — честно ответил он.

И она засмеялась.

Смех был тихим, не театральным, не «поставленным» — не таким, который предназначен для того, чтобы понравиться. Настоящий смех. Тёплый. Лёгкий. Чуть хриплый. Такой смех не разносится далеко. Он остаётся между двумя людьми, как секрет.

Смех ударил Виктора в грудь сильнее, чем любой импульс нейростимулятора. Он почувствовал, как внутри него что-то подаётся, трескается, раскрывается. Как будто трещина, с которой он жил двадцать четыре года, наконец обрела форму, в которую может излиться свет.

Сара отошла от двери.

— Заходи, — сказала она. — У меня есть и соль, и рыба. А у тебя, похоже, нет ни того, ни другого.

III. Они настоящие

Её квартира была такой же маленькой, как и его.

Стандартная жилая ячейка среднего класса: одна комната, кухня-ниша, ванная, окно, за которым небо заменяли фасады соседних башен. Но всё в этой квартире — каждая мелочь, каждая складка ткани, каждый предмет — говорило о том, что здесь живёт человек, а не функция.

У окна стоял стол. Настоящий деревянный стол — не пластиковая столешница с функцией самоочищения, а дерево. Потертое. С царапинами. С круглым темным пятном от кружки, которую однажды поставили на горячую поверхность. Дерево в Ауруме было почти неприличной роскошью — не в денежном, а в смысловом смысле. Оно занимало место, требовало ухода, старело. Корпорация предпочитала вещи, которые не стареют и не напоминают человеку о времени.

На подоконнике стояли горшки с травами. Настоящими, живыми, зелёными. Базилик, розмарин, мята. Листья были неровными, местами подсохшими. У одного горшка треснул край, и трещина была заклеена прозрачной лентой.

Виктор подошёл ближе. Провёл пальцами по листу мяты. Лист ответил прохладой и запахом — острым, свежим, с горчинкой, которая оседала на языке. Он никогда раньше не трогал живое растение. В Ауруме растения существовали либо в виде декоративных голограмм, либо в виде строго контролируемой биомассы в теплицах корпорации. Эти — на подоконнике — были маленьким актом неповиновения. Мягкие, зеленые, пахнущие дождем.

— Они настоящие, — сказал он. Это прозвучало глупо, как все очевидные вещи, которые понимаешь слишком поздно.

— Надеюсь, — ответила Сара, проходя к холодильнику. — Если нет, то я уже три года разговариваю с пластиковыми листьями, и это многое обо мне говорит.

Она открыла холодильник. Старый, гудящий, с приклеенным магнитом в форме луны. Достала рыбу — завернутую в бумагу, еще влажную от льда.

— Ты готовишь? — спросил Виктор.

— Иногда. Когда есть силы. Когда есть настроение. Когда хочется вспомнить, что еда — это не просто калории.

— Почему не пользуешься автоповаром?

Она бросила на него быстрый взгляд через плечо.

— Потому что автоповар не умеет любить еду.

— Еду можно любить?

— Всё можно любить, если делать это руками.

Она положила рыбу на разделочную доску. Доска тоже была деревянной — старой, в порезах от ножа. Нож она держала уверенно. Не как человек, прошедший кулинарный курс по подписке. Как человек, который разделывал рыбу уже сотни раз и каждый раз чувствовал под ладонью сопротивление кожи, мягкость мяса, влажное скольжение чешуи.

Виктор сел на табурет у стены. Смотрел.

Он смотрел на все: на то, как она прикусывает нижнюю губу, когда сосредоточена; на то, как убирает локтем прядь с лица, не отрывая рук от ножа; на то, как мятая футболка сползает с плеча, обнажая ключицу — тонкую, как дужка чайной ложки.

Он смотрел — и понимал, что впервые в жизни смотрит не потому, что хочет оценить, измерить, классифицировать. А просто потому, что не может не смотреть.

— Ты часто так смотришь? — спросила Сара, не оборачиваясь.

Виктор замер.

— Как?

— Как будто я — сложная задача, а ты вот-вот найдешь решение.

Он хотел соврать. Сказать: «Прости, профессиональная привычка техника — я все анализирую». Или: «Просто задумался». Или еще что-нибудь из набора безопасных фраз, которыми люди прикрывают неловкость.

Но вместо этого сказал:

— Нет. Впервые.

Она обернулась. Нож в ее руке блеснул в теплом свете кухонной лампы.

— И как? Нашел решение?

— Пока только входные данные.

Секунда тишины. Потом она усмехнулась.

— Значит, у нас эксперимент.

Слово «эксперимент» кольнуло его чем-то странным — словно внутри, очень глубоко, память, которой у него не было, на секунду встрепенулась, пытаясь проснуться. Но ощущение исчезло так же быстро, как и появилось.

— Возможно, — сказал он.

— Тогда сядь ровно и не мешай учёной работать.

IV. Она готовила рыбу с розмарином

Действие было простым — настолько простым, что ни один житель Аурума не счёл бы его заслуживающим внимания. Но для Виктора оно было почти священным. Он видел, как она берет щепотку соли, растирает ее между пальцами и сыплет на влажную серебристую кожу. Как режет лимон и выжимает сок, морщась, когда капля попадает ей в глаз. Как отрывает веточки розмарина и мнет их ладонью, чтобы запах стал сильнее.

— Почему ты делаешь это руками? — спросил он. — Можно же включить кухонного ассистента.

— Можно, — сказала она. — И тогда рыба будет правильной. Но я не хочу правильную рыбу. Я хочу ту, которую трогали.

Она сказала это так просто, словно речь шла не о рыбе, а о смысле жизни. Может быть, так оно и было. В Ауруме почти всё производилось машинами — быстро, эффективно, безошибочно. Одежда, еда, развлечения, даже утешение. Машины делали всё лучше человека. Кроме одного: они не оставляли на вещах своего тепла.

Сара разогрела сковороду. Выложила рыбу. Масло зашипело — это был первый настоящий звук готовки, который Виктор услышал в своей жизни. Шипение было живым, хаотичным, прекрасным. Это был не синтезированный аудиодизайн «уютной кухни», который можно включить в приложении для релаксации. Это был настоящий звук настоящего жара и настоящего масла.

Запах наполнил квартиру.

Виктор закрыл глаза.

Он восемь лет ел синтетическую еду. Идеально сбалансированную, идеально стандартизированную, разработанную таким образом, чтобы не вызывать ни отвращения, ни восторга. Еда в Ауруме была топливом, замаскированным под гастрономию. Даже в дорогих ресторанах вкус рассчитывался алгоритмом. Даже редкие «фермерские продукты» проходили через двадцать два уровня контроля и в процессе теряли все, кроме белков, жиров и углеводов.

Запах жареной рыбы ударил его сильнее любого наркотика.

Это был не просто запах. Это была история. История моря, которое он никогда не видел по-настоящему — только из окна башни, как плоскую картинку. История соли, солнца, чьих-то рук, чьего-то терпения. В запахе был целый мир. И этот мир сейчас готовился на маленькой сковородке в четырнадцатой квартире.

Он открыл глаза и обнаружил, что смотрит на неё так, будто боится: если моргнуть, всё исчезнет. И рыба. И запах. И эта женщина с родинкой. И квартира с горшками мяты. И окажется, что он всё выдумал от одиночества.

— Ты очень тихий, — сказала Сара, переворачивая рыбу.

— Прости.

— Я не жалуюсь. Просто... интересно. Обычно мужчины, которые приходят ко мне за солью, либо очень много говорят, либо сразу начинают раздеваться.

Виктор покраснел. Это удивило его самого — он не помнил, когда краснел в последний раз. Возможно, никогда.

— Я не собирался...

— Раздеваться? — она обернулась, и её улыбка стала чуть шире, чем в лифте. — Я догадалась.

— Я не собирался много говорить.

— Это я тоже заметила.

Она сняла рыбу со сковороды, выложила на две тарелки, добавила ломтик лимона. Одну поставила перед ним. Вторую — себе.

Виктор смотрел на тарелку.

Рыба была простой. Даже грубой. Никакой ресторанной подачи, никакого съедобного золота, никакой молекулярной пены. Просто рыба. Просто розмарин. Просто лимон.

И все же она выглядела прекраснее любой еды, которую он видел в верхних башнях.

— Ешь, — сказала Сара. — А то остынет, и весь мой романтический спектакль пойдет насмарку.

— Это романтический спектакль?

— Пока нет. Но ты можешь помочь ему стать таковым.

Он взял вилку. Отделил кусочек. Положил в рот.

И замер.

V. Удар током

Вкус был как удар током.

Не болезненный — очищающий. Как будто кто-то открыл внутри него дверь, которая всю жизнь была заперта, и за дверью оказался не пустой шкаф, а целый океан.

Рыба была соленой — не абстрактно, не так, как пишут в меню: «с легкой морской ноткой». По-настоящему соленой. У соли был характер. Она не просто усиливала вкус — она разговаривала с ним. Говорила: вот море. Вот солнце. Вот время.

Розмарин горчил — но горечь была теплой, не агрессивной. Как воспоминание, которое слегка больно трогать, но все равно хочется подержать во рту подольше.

Лимон бил короткой яркой вспышкой — как смех, внезапный и точный.

Текстура рыбы — мягкая, волокнистая, живая. Она таяла на языке не как синтетическая масса, распечатанная пищевым принтером, а как нечто, что когда-то плавало, сопротивлялось течению, было частью другого мира.

Виктор закрыл глаза.

И заплакал.

Сначала он даже не понял, что происходит. Просто что-то тёплое потекло по щекам. Он поднял руку, коснулся лица, увидел влагу на пальцах — и это потрясло его почти так же сильно, как сам вкус.

Он плакал от еды.

Сара замерла с вилок в руке.

— Эй, — тихо сказала она. — Тебе плохо?

Он покачал головой. Не мог говорить. Во рту было слишком много мира, чтобы вместить еще и слова.

Она отложила вилку. Встала. Обошла стол. Села перед ним на корточки — так близко, что он видел золотые точки в ее зрачках.

— Виктор.

Он открыл глаза.

— Я не знал, что еда может быть такой, — сказал он. Голос сорвался.

— Какой?

Он искал слово. Правильное слово. Не «вкусной» — это было бы оскорбительно мало. Не «настоящей» — хотя это было ближе к истине.

Он посмотрел на неё. На её руки, пахнувшие рыбой, розмарином и лимоном. На родинку. На асимметричную улыбку, которая теперь исчезла, уступив место мягкой тревоге.

— Живой, — сказал он. — Я не знал, что еда может быть живой.

Сара смотрела на него. Потом — неожиданно — рассмеялась. Не над ним. От облегчения. И от чего-то еще — от нежности, которая слишком велика, чтобы уместиться на серьезном лице.

— Боже, — сказала она. — Ты действительно не отсюда.

— Откуда?

Она встала. Вернулась на свое место. Отрезала себе кусочек рыбы.

— Оттуда, где люди еще умеют чувствовать руками. Или языком. Или сердцем. Здесь все так давно стандартизировали, что если человек плачет от ужина, значит, он либо безнадежно сломан, либо безнадежно настоящий.

— Какой вариант хуже?

— Зависит от рынка.

Он рассмеялся — впервые за много лет. Смех вырвался неожиданно, грубо, как будто заржавевший механизм попытались провернуть после долгого простоя. Он был некрасивым. Почти болезненным. Но это был смех.

Сара улыбнулась.

— Вот так лучше, — сказала она. — А то я уже решила, что пригласила домой манекен.

VI. Правильный вопрос

Они ели медленно.

Разговор между ними тек не как река и не как бурный поток. Скорее как чай из плохо заклеенного чайника — капля за каплей, с паузами, с тихим звуком, но все же тек. Виктор был неразговорчив. Сара не пыталась вытянуть из него признания. Она задавала вопросы так, как задают их люди, которым действительно интересно услышать ответ, а не подтвердить собственную картину мира.

— Ты правда специалист по системам кондиционирования? — спросила она.

— Да.

— И тебе это нравится?

Он задумался. Вопрос был сложнее, чем казался. Нравится ли ему его работа? Работа была... правильной. Предсказуемой. В ней были системы, поломки, логика. Хаос поддавался настройке. Воздух можно было заставить двигаться по нужным каналам. Температуру можно было выровнять. Сломанный фильтр — заменить.

Но нравилось ли ему это? До встречи с ней он никогда не задавал себе этого вопроса. Он просто работал. Как работают сердца, насосы, вентиляторы.

— Мне нравится, когда что-то работает после того, как не работало, — сказал он наконец.

Сара кивнула. Будто это был очень важный ответ.

— Значит, тебе нравится чинить.

— Наверное.

— Это редкость. Люди в Ауруме не любят чинить. Они любят выбрасывать и покупать новое. Это быстрее. Проще. Красивее. Но мне всегда казалось, что починка — это форма уважения. К вещи. Ко времени». К тому, кто ее сделал.

Она говорила о вещах так, как некоторые люди говорят о мертвых, — мягко и осторожно. Будто у каждой разбитой кружки, каждого треснувшего стула, каждой старой рубашки есть душа, и эту душу можно задеть неосторожным словом.

— А ты? — спросил он. — Ты кем работаешь?

— Диагностом в пищевом секторе. Проверяю линии упаковки. Слежу, чтобы синтетический белок не подменяли более дешевыми смесями. Чтобы маркировка соответствовала содержанию. Чтобы люди ели именно ту ложь, за которую заплатили, а не какую-то другую.

Она сказала это легко, почти весело. Но за этими словами что-то дрогнуло — тонкая, едва заметная трещина, но Виктор ее почувствовал. Тот же инстинкт, который всю жизнь помогал ему распознавать неисправности в системах, впервые в жизни применился к человеку.

Он почувствовал: ей больно.

Не сейчас, не остро. Больно уже давно. Старая боль, с которой научились жить, как живут с ноющим коленом перед дождем.

— Ты не любишь свою работу, — сказал он.

Она моргнула.

— Это так очевидно?

— Нет. Просто... показалось.

— Показалось, — повторила она. — Интересное слово. Будто все, что действительно важно, только кажется. Будто настоящие вещи нельзя доказать, их можно только почувствовать кожей.

Она отпила воды. Посмотрела в окно — не на вид за окном, а куда-то сквозь него.

— Я не ненавижу ее, — сказала она. — Ненависть — это уже привязанность. А я стараюсь не привязываться к тому, что завтра может исчезнуть. В Ауруме это полезный навык.

Виктор хотел спросить: что у тебя исчезло? Хотел. Но не спросил. Потому что почувствовал — трещина ещё не готова к тому, чтобы её трогали. Некоторые вещи нужно сначала согреть. Как металл, о котором он позже узнает от Кузнеца в другой истории, в другой жизни,

в другом подвале. Но тепло этого знания ещё не пришло. Пока он знал только одно: к ее боли нельзя прикасаться резко.

Поэтому он спросил:

— Тогда что ты любишь?

И это был правильный вопрос.

Лицо Сары изменилось. Не сильно — всего на полтона. Но он увидел, как к ее коже изнутри подступает свет. Так бывает, когда в доме зажигают лампу и окна, еще секунду назад темные, оживают.

— Запах земли после дождя, — сказала она сразу, не задумываясь. — Настоящей земли. Не гидропонных модулей. Не декоративного грунта в дизайнерских кашпо. Земли. Чёрной, жирной, живой. Я выросла на ферме. На севере, до переселения. Мне было двенадцать, когда её затопило. Но я до сих пор помню, как пахнет земля, когда на неё обрушивается первый тёплый ливень.

Она улыбнулась — уголком губ, в сторону, как будто сама себе.

— Ещё я люблю дождь. Настоящий. Не климатические спреи. Не «атмосферные эффекты» для вечеринок. Дождь, который идёт не по расписанию. И чай. И бумажные книги. И старую музыку, записанную живыми людьми, которые не пели в идеальный тон.

— Бумажные книги? — переспросил он.

— Да. У тебя такое лицо, будто я призналась в людоедстве.

— Я просто... никогда не держал в руках бумажную книгу.

Она отложила вилку.

— Серьезно?

— Seriously.

— Тогда подожди.

Она встала, подошла к низкому шкафчику у стены, открыла нижнюю дверцу и достала прямоугольный предмет, обернутый тканью. Ее движения были осторожными — почти церемониальными. Она развернула ткань и положила предмет на стол.

Книга.

Небольшая. Потертая. В мягкой обложке, выцветшей до неопределенного синего оттенка. На корешке едва читалось название. Страницы пожелтели, уголки загнулись, бумага хранила запах пыли, пальцев и времени.

Виктор смотрел на книгу так, как раньше смотрел на белый чайник с синими горошинами. С благоговением, которое невозможно объяснить рационально.

— Можно? — спросил он.

Сара кивнула.

Он взял книгу обеими руками. Она была теплой — от ее рук. И легкой. Невероятно легкой для того веса, который она вдруг приобрела в его сознании. Он провел пальцем по обложке. По выпуклым буквам названия. Открыл.

Страницы зашуршали.

Этот звук — сухой, тихий, шепчущий — был почти невыносимо прекрасен. Как будто книга не открылась, а вздохнула. Или заговорила с ним на языке, которого он не знал, но всегда ждал.

— Она... пахнет, — сказал он.

— Конечно, пахнет. Всё настоящее пахнет. В этом и проблема.

— Проблема?

— Настоящее всегда можно вычислить по запаху, по неровностям, по изъянам. А значит, его всегда можно найти и заменить на правильное.

Он поднял глаза. Она стояла напротив, опершись ладонями о стол, и смотрела на него так, будто видела не просто мужчину с книгой в руках, а нечто гораздо более хрупкое.

— Ты очень странный, Виктор, — тихо сказала она.

— Я начинаю это понимать.

— Нет. Ты не понимаешь. Ты... — она запнулась, подбирая слово. — Ты реагируешь на всё так, будто видишь это впервые. На рыбу. На книги. На мяту. На смех. На мои руки. Никто в Ауруме так не реагирует. Мы все слишком давно живем в готовом мире, чтобы удивляться.

Он хотел сказать: потому что со мной это и правда впервые. Не только книга. Не только рыба. Все. Все настоящее — впервые.

Но он не понимал, почему так происходит. Не знал правды о себе. Не знал, что его жизнь — это лабораторный коридор с расставленными маркерами, по которому он идёт, принимая стены за горизонт.

Поэтому он сказал:

— Может быть, я просто плохо адаптируюсь.

Сара улыбнулась.

— Тогда, возможно, ты — мой любимый вид неисправности.

VII. Соль пригодилась?

Он ушёл в одиннадцать вечера.

Ушел не потому, что хотел. Потому что чувствовал: если останется дольше, если еще хоть полчаса просидит в этой квартире среди мяты, дерева, бумажных книг и ее голоса, — что-то внутри него окончательно перестанет подчиняться старым правилам. А новых правил у него не было. Только ботинки, пачка соли и белый чайник дома.

Она проводила его до двери.

Коридор был пуст. Тишина — редкая роскошь для жилого квартала среднего класса, где обычно звенели лифты, смеялись дети и спорили соседи из-за платы за воду. В этот час большинство уже было дома, но двери закрыты, звуки приглушены, мир сузился до полоски света под дверью.

Сара стояла, прислонившись плечом к косяку и скрестив руки на груди. Босая. В старой футболке. С выбившейся прядью у виска.

— Ну что, — сказала она. — Соль пригодилась?

Виктор посмотрел на пачку соли, которую всё это время сжимал в руке. Бумага на углу уже намочена от пота. Он совсем о ней забыл.

— Думаю, да.

— Ты ужасный лжец.

— Я понял это, когда сказал «для рыбы».

— Но мне понравилось, что ты хотя бы попытался.

Он кивнул. И вдруг понял, что не хочет уходить вот так. Ни с чем. Без следующего шага. Без ниточки, за которую можно держаться до утра.

— Можно... — начал он и осёкся.

Она ждала.

— Можно я... — он снова запнулся. Ему было двадцать четыре. Он умел чинить системы кондиционирования на высоте трехсот метров, менять фильтры в аэротоннелях, рассчитывать потоки воздуха в промышленных зонах. Но слова «можно я зайду еще» застряли у него в горле, как у подростка.

Сара смотрела на него с таким вниманием, будто от этого вопроса действительно что-то зависело.

И, наверное, зависело.

— Можно я верну тебе... — он поднял пачку соли, увидел ее взгляд и сам рассмеялся.
— Ладно. Честно. Можно я еще приду?

Она молчала. Секунду. Две. Три.

Потом сказала:

— Если придешь с чем-нибудь более правдоподобным, чем соль.

— Например?

Она задумалась — по-настоящему, слегка наклонив голову, как будто проговаривая варианты про себя.

— Например, с чаем.

— Чаем?

— Да. Я люблю чай. Утром. Но мой чайник умер неделю назад, а новый я так и не купила. Если у тебя есть чайник и какая-нибудь приличная заварка, это будет убедительнее, чем соль без рыбы.

Виктор почувствовал, как внутри него что-то тихо щёлкнуло. Как будто замок, который долго не поддавался, вдруг повернулся сам.

Белый чайник с синими горошинами стоял у него дома на кухонном столе. Он купил его, сам не зная зачем. Теперь — знал.

— У меня есть чайник, — сказал он.

— Тогда, — Сара оттолкнулась от косяка и шагнула обратно в квартиру, — приходи завтра. В семь. Я открою.

Она закрыла дверь. Не резко. Не мягко. Просто закрыла.

Виктор простоял в коридоре ещё минуту. Потом ещё две. Потом достал из кармана руку с солью, посмотрел на неё и тихо сказал:

— Спасибо.

Соль, разумеется, не ответила.

Но что-то в его груди — тот новый орган, то пламя, та открытая дверь — ответило очень ясно:

Завтра. В семь.

VIII. Это было начало.

Он не спал почти до рассвета.

Сначала он просто сидел на кухне. Белый чайник с синими горошинами стоял на столе между двумя чашками. Виктор смотрел на него так, будто на эмали были записаны ответы на все вопросы, которых у него внезапно стало слишком много.

Почему ее голос звучит у него в ушах даже в тишине?

Почему запах розмарина остается на пальцах, хотя он ничего не готовил?

Почему ему кажется, что если завтра в семь она не откроет дверь, мир не рухнет, но треснет так, что звук этого треска будет слышен еще очень долго?

Он встал. Вымыл чайник, хотя тот был чистым. Протер его полотенцем. Посмотрел на ручку. Поставил на место. Достал из шкафа две чашки и обнаружил, что они казенные, одинаковые, безликие, как его ботинки. Внезапно это показалось ему невыносимым.

В три часа ночи он снова оделся, спустился на рынок, который почти не спал, и купил еще две чашки. Одна — с тонкой синей полоской по краю. Другая — с крошечной трещиной у ручки, заклеенной прозрачной смолой. Продавец сказал: «Эта треснутая дешевле». Виктор взял обе. Треснутая почему-то казалась ему более правильной.

Вернувшись, он долго рассматривал чашки при свете кухонной лампы. Проводил пальцем по смоле, скрепляющей трещину. Думал о том, что сломанное можно не выбрасывать. Что его можно склеить. Оставить след починки на виду. Не прятать его. Не маскировать. Сделать частью предмета.

Ему это так понравилось, что стало тревожно.

Потому что все, что ему нравилось раньше, было простым и безопасным: работающий вентилятор, стабильная температура воздуха, исправный датчик. А это было другим. Это была чужая чашка с чужой трещиной, купленная ночью, чтобы завтра утром быть чуть менее безликим в глазах женщины, которую он видел сорок семь секунд в лифте и два с половиной часа на кухне.

Под утро он все-таки уснул. Ненадолго. И ему приснился странный сон: белый чайник с синими горошинами стоял посреди океана, а вокруг него расходились круги по воде. Из каждого круга поднимался запах мяты.

Когда он проснулся, за окном было ещё темно. До семи оставалось четыре часа.

Он встал. И впервые за восемь лет работы опоздал на смену — на двадцать три минуты. Не потому, что проспал. Потому что слишком долго выбирал, какой чай купить.

Это было начало.

ИНТЕРЛЮДИЯ: САРА (ДО)

«Земля после дождя»

I.

Сара Нойман не верила в любовь с первого взгляда.

Она верила в землю. В дождь. В запах сена, которое сушится на солнце. В тяжесть ведра с водой, которое несёшь от колодца к дому, и руки горят, и спина ноет, но ты несёшь, потому что без воды ничего не вырастет. Она верила в то, что можно потрогать, понюхать, попробовать на вкус. В то, что существует независимо от того, верит в это кто-то или нет.

Любовь с первого взгляда в этот список не входила.

Поэтому то, что произошло в лифте, она объяснила себе иначе.

«Он показался мне знакомым, — думала она, лежа в постели в ту первую ночь после встречи с Виктором. — Не лицо — ощущение. Как будто я уже стояла рядом с ним. Как будто мои мышцы помнят, как нужно стоять, когда он рядом». Как будто тело знает что-то, чего не знает голова».

Она повернулась на бок. За окном мерцали огни соседних башен — бесконечные ряды окон, за каждым из которых кто-то спал, или не спал, или делал вид, что спит. Аурум не отличал одно от другого.

«Чепуха, — сказала она себе. — Просто одинокий мужчина в лифте. Просто красивые глаза. Просто... запах. У него был запах. Не одеколон — что-то другое. Что-то, что исходит от кожи». Теплое. Как земля после дождя».

Она закрыла глаза. И увидела ферму.

II.

Ферма Нойманов располагалась в двухстах километрах от побережья, в месте, которое когда-то называлось Орегон.

Сара помнила ее не как место, а как состояние. Состояние, в котором мир был понятен: земля — внизу, небо — вверху, а между ними — все, что имеет значение. Пшеница, которая растет. Дождь, который идет. Руки, которые работают.

Бабушка Эльза была маленькой жилистой женщиной с руками, похожими на корни, — темными, узловатыми, негибкими. Она управляла фермой тридцать лет, с тех пор как дедушка Йозеф сломал спину, упав с трактора. Дедушка не стал инвалидом — он стал философом. Сидел на крыльце в кресле-качалке, смотрел, как Эльза пашет поле, и говорил вещи, которые Сара запоминала, не понимая. Понимание приходило потом — через десять, двадцать лет, в самые неожиданные моменты, как семена, которые прорастают не тогда, когда их сажают, а когда приходит их время.

«Любовь — это не чувство, внучка, — говорил дедушка Йозеф, покачиваясь в кресле. — Чувства приходят и уходят, как погода». Сегодня солнце, завтра дождь. Любовь — это решение. Каждое утро ты просыпаешься и решаешь: я остаюсь. Не потому, что мне хорошо. Не потому, что мне легко. Потому что я — здесь. И ты — здесь. И этого достаточно».

Саре было пять лет, когда она впервые услышала эту историю. Она сидела на коленях у дедушки, и его голос — низкий, спокойный, пахнущий табаком и старой кожей — был для неё голосом мира. Не мира как вселенной. Мира как безопасности. Мира, в котором можно закрыть глаза и не бояться упасть.

«А как понять, что ты любишь?» — спросила она.

«По рукам, — ответил дедушка. — Когда ты любишь кого-то, твои руки хотят что-то для него сделать». Не потому, что он просит. Не потому, что ты должна. Потому что руки сами знают: этот человек — мой. И для моего человека мои руки будут месить тесто, носить воду, чинить забор и гладить по голове, когда ему плохо. Руки знают раньше, чем голова. Голова думает. Руки — любят».

Сара запомнила. Не поняла — запомнила. Как запоминают мелодию, которую слышат в детстве: не ноты, а ощущение. Ощущение, что где-то в мире существует правда, и эта правда связана с руками.

III.

Бабушка Эльза пекла хлеб по субботам.

Это был ритуал. Не религиозный, а практический. Суббота была единственным днём, когда бабушка не работала в поле, и единственным днём, когда на кухне не было консервирования, засолки, варки и прочих процессов, превращавших урожай в еду на зиму.

Сара просыпалась в субботу от запаха муки. Не дрожжей — муки. Бабушка не использовала дрожжи. Она использовала закваску — живую, старую, которой было столько же лет, сколько и самой ферме. Закваска жила в глиняном горшке на полке над плитой и пахла кислым, тёплым, живым.

«Хлеб должен быть некрасивым, — говорила бабушка, замешивая тесто. Ее руки — темные, в муке до локтей — двигались ритмично, как поршни. — Красивый хлеб — для глаз. Некрасивый — для рта. Красивый хлеб — это ложь, которая хорошо выглядит. Некрасивый — это правда, которая хорошо пахнет».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.